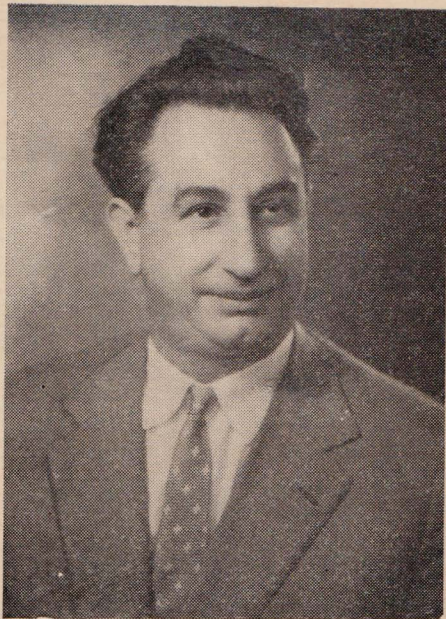


БИБЛИОТЕКА

**ОГОНЁК**

№ 50

1959



**Георгий ГУЛИЯ**

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ПРАВДА»  
МОСКВА

**БЕЛАЯ НОЧЬ**

Георгий ГУЛИА

БЕЛАЯ НОЧЬ

РАССКАЗЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

*На 40 руб. 5 коп. -  
Муницип. Библиот.  
№ 1113  
1460. Г. 8  
Москва.*

Издательство «ПРАВДА»  
Москва. 1959

## Георгий ГУЛИА

Георгий Дмитриевич Гулиа родился в городе Сухуми 1 (14) марта 1913 года.

Г. Гулиа по образованию инженер-путеец. Работал на строительстве Черноморской железной дороги, а затем — в редакциях газет. С 1938 по 1945 год — начальник Управления по делам искусств при Совете народных комиссаров Абхазской АССР, одновременно являлся ответственным секретарем Союза писателей Абхазии. С 1950 года — член редакционной коллегии «Литературной газеты».

В 1943 году Г. Гулиа как художнику было присвоено звание заслуженного деятеля искусств Грузинской ССР.

Член КПСС с 1940 года.

Первая повесть Г. Гулиа «На скате» была написана в 1930 году. Затем выпустил книги: «Мечь» (1936), «Рассказы у костра» (1937), «Весна в Сакене» (1948) — повесть, удостоенная Сталинской премии, «Черные гости» (1954), трилогия «Друзья из Сакена» (1954), «Леночка» (1956), «Белая ночь» (1958), роман «Водоворот» (1959) и другие. В результате заграничных поездок появились книги «В стране Шкиперии» (1953), «На земле Яна Гуса» (1954). Г. Гулиа написал для детей книжечки «Знаменитые улицы» (1953), «Чудесный день» (1953), «Огненный конь» (1954), «Рассказы о наших друзьях» (1957).

Г. Гулиа награжден орденом «Знак Почета», медалями «За оборону Кавказа» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

## БЕЛАЯ НОЧЬ

От моторного карбаса отделяется лодка. Весла равномерно опускаются в воду, толкая небольшую рыбацкую посудину к берегу. Карбас медленно исчезает в тумане.

Низко проносится гагара, вслед за ней — другая. Летят они быстро, вытянув шеи, летят, должно быть, зная куда и зачем и не боясь заблудиться в тумане. С поверхности моря поднимаются морские утки, напуганные плеском воды. Ночное полярное солнце, блеклое, как розовая промокательная бумага, неподвижно повисает над самым горизонтом, повисает надолго — на час, а может быть, и на два.

На корме лодки полулежит доктор Рубцов. Ему двадцать восемь лет. Лицо у него бледное, усталое. Серая шляпа съехала на затылок, волосы растрепались. Он свесил за борт руку и опустил пальцы в холодную воду...

Лодочника зовут Иван Егорович, или попросту Егорыч. Это молодой человек, кряжистый, основательно загорелый. Рубцову кажется, что грести Егорычу одно удовольствие — совсем не тяжело. На широком лице лодочника, бородатом, покрытом резкими морщинами, — выражение легкой сосредоточенности, какое бывает, когда человек размышляет над чем-то приятным. Кажется, что вода, тяжелая и живая, как ртуть, сама двигает весла, а они, в свою очередь, заставляют работать жилистые руки лодочника...

Иван Егорович спрашивает доктора, продолжая прерванный разговор:

— Значит, надоело у нас?

— Я бы не сказал...

Лодочник на минуту перестает грести.

— Молодость, — говорит он. — Все носитесь, все колобродите. Пожили у нас три года — и до свиданья. Или, может, рыбаки не угодили?

— Да нет, — возражает доктор, — все было очень хорошо. Мне просто хочется поработать в больших клиниках, подучиться немного. Только и всего.

— Оно конечно,— соглашается лодочник, но видно, что он все-таки не согласен с доктором.— Да жалко вас отпускать. А и то верно: чем мы вас удивили? Тюленями? Или камбалой? Или семгой, что ли? И природа у нас неказистая — тундровый край...— Егорыч умолкает и немного погодя говорит вкрадчиво: — А то бы остались. На зверя бы морского пошли. Или на Канин, на песцовую охоту. Старуха моя говорит: «Должно, девки у нас перевелись такие, от которых сердца замирает. Вот, говорит, доктор три года холостяком ходит». Это она девчат наших укоряет: дескать, в прежние времена любого приворожили бы...

И снова Иван Егорович неторопливо заработал веслами. Он щурил глаза, следя за полетом птиц.

— Значит, последний обход, Пал Владимыч? — спросил лодочник с укором.

— Выходит, так,— равнодушно ответил доктор.

Лодка уперлась в отмель. Из-за легкой клочковатой дымки показался «низкий берег» — песчаное морское дно, разглаженное недавним отливом. Невдалеке виднелся «высокий берег». Северные склоны его были покрыты нарастающим снегом. В часы прилива — в «большую воду» — волны точили нижний край этого слежавшегося снежного покрова.

Направо по берегу — ставные невода. После отлива они оказались на суше. Среди высоко подвешенных сетей возились рыбаки — мужчины и женщины. На высоком берегу — добротная рубленая изба. Это рыболовецкий стан, или, как здесь говорят, «тоньская изба».

Доктор и Егорыч оттащили лодку подальше от воды, чтобы ее не унесло приливом.

— Ну что ж,— сказал лодочник, вытирая мокрые руки о брезентовые штаны,— на рыбу посмотрим, а потом в избу: громко поговорим, чаю попьем...

Они пошли к неводам.

Рыбаки выбирали улов из нехитрой ловушки. Девушки в высоких сапогах из тюленьей кожи пытались выловить неистово мечущихся рыб. Вода кипела.

— Это семга,— сказал лодочник.— По воде видать: семга.

И действительно, вскоре были выловлены четыре неудержимо упругие рыбины. Их тут же успокоили ударом деревянной чурки по голове.

Бригадир рыбаков, неуклюжий высокий мужчина, весь обтянутый кожей и резиной, поздоровался с доктором. Приветствие его было скупым, односложным. Бригадир медленно подошел к Рубцову и постоял возле него молча, подчеркивая тем са-

мым свое уважение к гостю. От рыбака пахло морской солью и прибрежными замшелыми скалами.

— Не болен ли кто? — спросил доктор.

— Да кому же болеть-то охота?

— А палец у Кáлисты зажило?

— Вон она, Кáлиста,— показал бригадир на одну из девушек с огромной рыбиной в руках.— Поболела, полечилась — и вышло по-нашему: до свадьбы зажило.

Речь шла о молодой рыбачке Кáлисте. Во время разделки тюленьей туши она поранила палец и заразилась чингой (так называют поморы язвенную болезнь, встречающуюся среди зверобоев).

— А спирта, небось, маловато? — будто всерьез поинтересовался доктор.

Помор покосился на доктора, и жесткое его лицо на мгновение покрылось морщинами: это прошла улыбка, как рябь по воде.

— Спирт, доктор, отыщется, чай, мы люди, а не рыбы,— проговорил бригадир и указал рукою на избу: дескать, милости просим.

— Погляжу, как вы ее содержите,— сказал доктор и пошел к избе.

У подножия кручи Егорыч остановился. Пошарив взглядом под ногами и словно найдя то, что искал, он сообщил как новость:

— Вот тут, на этом самом месте, в аккурат проходит круг!

И Егорыч рассказал, как приезжали сюда «ученые люди с трубами разными» и определяли, где «лежит Полярный круг». Рубцов уже слышал не раз об этом круге — гордости местных рыбаков. Он кивнул и начал подниматься по ступенькам, вырубленным в твердом, как лед, снегу. Поднявшись наверх, он повернулся к морю. Перед ним расстилась светлая-серая морская гладь. Свежий ветер, подувший «с горы», разогнал тусклую дымку, и арктическая изменчивая погода на этот раз, казалось, обещала ясное утро (загадывать на целый день было трудно). В небе, у самого горизонта, по-прежнему висело июньское солнце и медленно-медленно подвигалось на восток.

Доктор ступил на пружинящую тундровую землю. Она простиралась в глубину материка насколько хватает глаз. Зеленая, а местами ржавая, тундра была безгранична, так же как море. Вокруг много топей. На топях — кочки-пупырьшки. Там и сям овражки, наполненные снегом. Жесткая трава стiха или сiха, олений мох ягель, прижатая к земле полярная брусника и различные цветы и лишайники густо устилали тундровые просторы. Кругом ни звука, даже собственных шагов не слыш-

но. Только легкий шум Белого моря доносился сюда, будто заглушенный городской шум на окраину.

Дверь в избу была полуоткрыта. Пройдя просторную прихожую, доктор попал в светлую, оклеенную обоями комнату. В углу — большая, чисто выбеленная русская печь, посреди комнаты — грузный стол, а подальше — лежанки. На окнах — кружевные занавески...

За столом сидела девушка лет двадцати. Она перебирала книги, сложенные тремя ровными стопками. Девушка удивленно подняла глаза и привстала. Доктор, не ожидавший встретить кого-либо в избе, невольно остановился в дверях. Девушка пыталась нащупать ногою туфли под столом (она их сняла по привычке).

— Чутьку правее, — посоветовал, улыбаясь, доктор, следя за тем, как туго обтянутая чулком девичья нога никак не могла попасть в туфлю.

— Все вы глазастые, когда не просят, — смущенно сказала девушка с едва заметной хрипотцой в голосе.

— Кто это «все вы»?

— А мужики!

Словно довольная своим ответом, девушка лукаво поджала губы и начала листать книги. Ее пальцы заработали быстро-быстро.

— Что же вы в дверях стоите?

Девушка была невысокая, худенькая, с тонкой и такой белой шеей, что ее не сравнишь даже со снегом. Во всяком случае, Павлу Владимировичу девушка показалась необыкновенной. Была в ней та щедрая доля красоты, которая не может не радовать. «Сколько же ей лет?» — подумал доктор, пытаясь определить ее возраст.

Девушка посмотрела на него долгим, полным любопытства взглядом.

— В ногах правды нет, — сказала она. — Вы уж лучше садитесь.

Доктор пытался вспомнить, где и когда он ее видел. Пожалуй, года два тому назад здесь же, в этой самой избе. В ту пору она казалась неказистой, угловатой. Была еще с нею подруга. Обе они так странно себя вели, словно были чем-то испуганы. Рубцов не обратил тогда на них внимания: просто девочки — вот и все...

И снова прозвучал мягкий, певучий, чуть протяжный голос:

— А я думала, что вы уже уехали.

— Как видите, нет. Но собираюсь.

Доктор еще раз подумал о двух годах, которые придала этой девушке яркую женскую красоту. И почему-то он решил, что

она непременно должна быть замужем или у нее есть жених. Наверно, так и есть... Вспомнил доктор, как хвалили рыбаки дочку библиотекарши. Дескать, невеста загляденье: красивая, работающая, не финтифлюшка какая-нибудь. Так вот, стало быть, о ком все это говорилось!

Вошел лодочник и принялся шарить по избе в поисках чайника.

— Иван Егорович, — обратилась к нему девушка, — самовар во дворе. Хотите кипяточку?

— Не мешает. И тепушек<sup>1</sup>, должно быть, у вас припасено вдоволь.

— Есть и тепушки. Вчера вечером напекли целую гору.

Девушка неожиданно кинулась к порогу.

— Ух ты, словно ветер какой! — удивился лодочник.

Доктор снял шляпу, положил ее на стол, прислушался к тому, как девушка ломала за стеною щепки. Потом достал гребенку и тщательно причесал волосы.

— Кто она? — спросил он лодочника.

— Ольга, что ли? Библиотекарши дочка.

— Что-то плохо припоминаю...

Егорыч махнул рукой:

— Разве всех упоминишь? Растут, словно грибы...

Доктор занялся делом.

Это был один из его обычных санитарных обходов. Он тщательно осмотрел помещение, постельное белье, посуду и остался доволен. «Учили мои замечания», — не без гордости подумал он, вспоминая недавнее столкновение с бригадиром из-за пыльных тюфяков. Доктор раскрыл тетрадь. На ее обложке было крупно выведено: «Обходной журнал».

— Вот вы, Пал Владимыч, — говорил между тем лодочник, — все голову ломаете: как бы кто не заболел да как бы даже самую малую грязь извести. А в прежнее время ни в грош не ставили поморов. Зайдешь в тоньскую избу — все глаза дымом выест. По-черному топили.

— И долго ее не было здесь? — обронил доктор, словно невзначай.

— В Архангельск ездила. На какие-то курсы... Говорят, годичные, не то двухгодичные... Так вот, набьются, значит, в избу человек двадцать, и шелохнуться негде. Ни газет тебе, ни музыки. А сейчас что? В такой избе, как эта, любая баба, даже самая привередливая, самая вредная, всю жизнь прожить согласится.

<sup>1</sup> Тепушка — лепешка из ржаной и пшеничной муки, приготовленная на молоке и яйцах.

— Она матери помогает, что ли?

— А как же! Помогает. Хорошая девчонка... Вот, брат, какие нынче избы: обои, значит, и радио! Дай крутану эту штучку.

Егорыч потянулся к приемнику.

— Она что же, в библиотеке работает? — спросил доктор.

— Должно быть, по материнской должности пойдет, — ответил лодочник, вертя ручки на приемнике. Вдруг он перестал вертеть, уставился на доктора и усмехнулся: — Что, доктор, по сердцу резануло?

Рубцов постарался придать своему лицу безразличное выражение. Однако он чувствовал, что краснеет.

— Ничего себе, девушка хорошая, — пробормотал он.

Лодочник снова занялся приемником. Наконец выяснилось, что батарея отслужила срок и радио работать не будет. Егорыч в сердцах сплонул.

«Я ее видел только в позапрошлом году, — снова подумал доктор, склонившись над тетрадью. — Она была такой невзрачной, голенастой девчонкой...»

Вошла Оля.

Она села на прежнее место и снова начала перебирать книги и журналы, сверяя их со списком. Старые книги надлежало увезти, а новые оставить.

— Оля, — спросил доктор, — вы привезли новые книги?

— Привезла, — ответила Оля, не подымая глаз.

— Интересные?

— Да разные...

Доктор помолчал, чувствуя, что не так-то просто продолжать этот разговор.

Егорыч неестественно закашлялся, надел фуражку.

— Доктор, — сказал он нарочито громко, но почтительно, — я тут поспрошаю рыбаков кой о чем. А там и чай поспеет, попьем с вами...

— Ладно, Иван Егорыч.

Однако лодочник не торопился уходить и добавил, лукаво улыбаясь:

— А вы, доктор, не обижайте девушку. Ну, а ежели очень приглянется... — лодочник провел кулаком по широким, желтым от табачного дыма усам, — а ежели приглянется, зовите в сваты. Девушка что надо!

И он вышел, стуча каблуками.

Рубцов смутился. Он понимал, что должен сказать что-нибудь, лучше всего пошутить, чтобы смятчить неловкость.

— Что же это он, а? — спросил он девушку.

— Глупости говорит! — отрезала Оля.

Наступила долгая тишина. Только временами снизу доходил сонный шум прибоя. В окнах стоял золотой свет, какой на юге бывает в часы заката. А солнце понемногу поднималось, давая понять, что короткая белая ночь миновала и что скоро наступит полярное утро.

— Вы не устали? Ведь ночь? — спросил Рубцов, желая вызвать девушку на разговор.

— А вам-то не все равно?.. Рыбаки же работают...

— Вы, никак, сердитесь на меня?

Оля блеснула глазами и, словно набравшись духу, выпалила:

— Вам, наверно, очень приятно девушек мучить? Из-за вас Лида Крюкова чуть не высохла...

Девушка, по-видимому, сердилась искренне, и это поразило Рубцова. Поначалу ему захотелось слегка подразнить ее, но он сдержался и сказал:

— Вы меня удивили.

— Очень мучилась Лидка, — подтвердила девушка, глядя в сторону. Вдруг она спросила: — А вам здесь не душно? — и, не дожидаясь ответа, встала и пошла к выходу.

Может быть, ей показалось, что неприлично так долго быть наедине с молодым человеком? Кто знает! Делать нечего, доктор положил «Журнал» в боковой карман и пошел вслед за ней, не думая ни о чем, не отдавая себе отчета, куда он идет, хотя в избе совсем не было душно. Он поймал себя на мысли, что ему хочется поговорить с ней, послушать ее, постоять возле нее, узнать о ней побольше. Ему казалось, что однажды уже он допустил оплошность, не обратив на нее никакого внимания. А человек ведь растет, хорошеет...

— Так вы не обманывали Лидку? — сказала Оля, идя рядом с доктором по тундровой зелени.

— Да нет же! — воскликнул доктор. — Откуда вы взяли!

Оля опустила на колени, чтобы сорвать ягоды. Она протянула их Рубцову.

— Это морощка. Еще неспелая. Скоро будем ее собирать. Любите моченую морощку?

Рубцов сказал с особой горячностью, что больше всего на свете любит моченую морощку.

— А вы приходите к нам. У нас ее много.

— Вы, должно быть, любите похозяйствовать? — спросил Рубцов.

— Не очень, — призналась она, — но я все умею делать.

— Все?

— Все!

— И уху варить?

— Разве вы не слышали? Все умею!

Рубцов сказал, что обожает уху, любую уху, и не обязательно семужью, которую все должны любить. А между тем он думал о Лиде Крюковой, с которой не был знаком. Она, оказывается, страдала из-за него. Он обратил внимание на странный оттенок в голосе девушки, когда она говорила об этом.

— Послушайте, Оля,— сказал Рубцов, приступая к только что задуманному, как ему казалось, хитрому вопросу,— вы человек прямой?

— Прямой.

— Правдивый?

— Да.

— Посмотрите мне в глаза и ответьте: вам очень жалко Лиду?

— Да.

— Почему?

Девушка молчала, Рубцов притронулся к ее холодным пальцам, а потом слегка пожал их.

— Не надо,— произнесла девушка едва слышно и добавила, точно оправдываясь: — Увидят...

В это мгновение Рубцов понял, что он является соучастником. Но соучастником чего? Слово «увидят», прозвучавшее почти заговорщицки, обдало его жаром.

Перед ним сверкали ее глаза — большие, добрые, необъяснимо нежные. Ему вдруг стало легко и весело, а потом и немного грустно...

Девушка, не зная, как себя вести, сорвала пучок зелени. Она почему-то рассказывала все, что знала о травах, находя их «прекрасными, чудесными», словно пытаясь отвлечь его внимание от себя или заглушить словами свое волнение.

— Только люди с черствой душой не понимают северной природы,— неожиданно сказала Оля.

Они стояли у края обрыва. Под ногами лежал снег. Белое море было спокойным. Солнце поднялось довольно высоко. Вода понемногу наступала на берег. Рыбаки убивали все, что могло быть унесено приливом.

Доктору казалось, что он может простоять на этом месте рядом с девушкой очень долго — весь день. Он еще раз пожалел, что раньше не привелось поговорить с нею. А ведь она очень славная, чтобы не сказать больше...

— Поплывем, что ли, доктор? — услышал за собой Рубцов голос лодочника.

— Без чая? — спросила Оля.

— Лодку водой унесет,— сказал Егорыч.

— Пожалуй, пора,— согласился Рубцов.

— Вы уезжаете совсем?

— Как вам сказать...— начал было Рубцов.

Вдруг Оля сорвалась с места и побежала к избе.

—частливого пути! — крикнула она, не оглядываясь.

Доктор постоял в нерешительности, потом начал быстро спускаться по снеговым ступенькам. За ним осторожно шел Иван Егорович. Надо было торопиться: у самой лодки уже плескалась вода. Доктор помахал рукой рыбакам. Они что-то прокричали, но он не расслышал их слов.

— Я буду еще! Буду! — пообещал доктор.

Когда они сидели в лодке и Егорыч греб навстречу приливу, доктор сказал:

— Придется еще раз объехать тони.

— Ой ли? — протянул лодочник недоверчиво.

— Решил — значит, сделаю.

— Еще бы! — откликнулся лодочник. — Характер у вас твердый. А ведь бывает же такое...

— Вы это о чем?

— Да вот о вас, стало быть...

Доктор пожал плечами. Он смотрел на берег. Высоко над наступающим приливом стояла девушка, освещенная розовыми лучами раннего солнца. А на небе ни облачка. И тумана словно не бывало. За высоким берегом скрывалась суровая тундра. Соревнуясь с ней в суровости, вокруг простиралось свинцовое море.

— Ну что ж, пообедем тони... — согласился точно про себя лодочник. — Кто же от хорошего человека бегаёт?

Доктор молчал. Опустив руку за борт, он следил за тем, как между пальцами течет прозрачная вода, и с легкой грустью поглядывал на берег.

1952.

## ТАКОЙ ХАРАКТЕР

### 1

— Он убьет ее,— сказала Зара мужу.

Уахсит Кушба живо вскочил на коня, но не сразу тронул его. Глянул на утреннее безоблачное небо. Привстал на стременах, потуже затянул башлык.

— Он убьет,— повторила женщина. Ее немолодое, испитое лицо вдруг посуровело. Она скрестила руки на груди, откинула назад голову. — И очень это хорошо!..

— Убьет, думаешь? — задумчиво произнес муж.

— А как же! — воскликнула Зара. — Ты не смотри, что фронтовые ордена у него и газеты о нем писали! Человек есть человек! Вот он вывел новый сорт груши. Это можно. А вот душу переделать нелегко. Разве в новой груше семена не похожи на те, что были сто лет назад? И даже очень! Вот так же Шаруан похож на своего отца, своего деда, своего прадеда. А как же?! А те спуска не давали ни женам, ни своим соперникам! Настоящие были абхазцы!

Он смотрел на нее вопросительно, а она, распалась, убеждала мужа в том, что Шаруан убьет жену, непременно убьет, потому что и он настоящий абхазец...

— Ну и черт с ней! — сказал он грубо. — Гадюка она! Я все ему выложу, а надо будет — останусь вместо него в горах.

— Вот что наделала эта ангелица! — злобно продолжала женщина. — А может, он и его прикончит?

Уахсит не ответил. Стеганул коня и вмиг выскочил за ворота.

2

Когда уже солнце устало повисло на западе, Кушба приближался к урочищу Больших Каштанов.

Еще верста...

Еще полверсты...

И вот уж приветливо вьется дымок над пастушьим шалашом. Пахнет жареным сыром и подгоревшим мясом. В высокой траве пасутся коровы. Лениво подают свои голоса овчарки...

Шаруан Лапан-ипа точно поджидал Уахсита. Он держал в ручищах вертел с кусками горячего мяса. И улыбался во весь рот. И усы у него приветливо торчали. Это был мужчина большой физической силы, неутомимый в работе, бесстрашный, когда угрожала опасность, и очень, очень вспыльчивый. Порою в него вселялся бес. В мгновение ока терял рассудок. В такое время надо было подалеже прятать пистолет — подарок командующего фронтом. Но, к счастью, случалось это довольно редко...

Шаруан улыбался, хотя был очень удивлен, ибо Уахсит наотрез отказался ехать вместе с ним на пастбище, сославшись на болезнь. И это неожиданное появление соседа предвещало нечто серьезное...

— Уахсит?! — сказал Шаруан. — Ей-богу, ты в самое время... Мясо готово, сыр и мамалыга тоже.

Уахсит спрыгнул на землю, бросил повод. Коротко поздоровался.

— Меня послал председатель, — сказал Уахсит. — Поезжай, говорит, посмотри, как там Шаруану живется, что со стадом делается...

— У нас все в порядке, — ответил Шаруан, стараясь не выдавать беспокойства. «С чего это вдруг ни с того ни с сего приискал Уахсит? — думал он. — Нет, неспроста это».

Но Шаруан не стал ломать голову. Скоро все узнает. Он пригласил гостя в шалаш.

— Все в порядке? Хорошо это, — проговорил Уахсит, присаживаясь на низенькую табуретку. — А вино есть?

Шаруан ухмыльнулся:

— Чего нет, того нет.

— Что же, обойдемся... Значит, все в порядке, говоришь? Шаруан пытливо поглядел на соседа. Верно, чем-то взволнован Уахсит. Теперь это ясно даже слепому...

Мужчины принялись за еду.

Жевали молча, прислушиваясь к тому, что делалось снаружи.

Уахсит время от времени удовлетворенно хмыкал.

Наконец он произнес, словно невзначай:

— Да... Так вот! Хозяйка твоя, значит, чего-то не так... Бывает это. Случается с красивыми... Вот так, значит!.. — Помолчал немного и спросил: — А та самая, рыжая буренушка отелась?

Шаруан посерел.

Налил себе и Уахситу кислого молока.

— Отеллась, — сказал он. — Здоровый телок. Бегаёт уже.

— Ого! Неплохо! А волки не беспокоят?

— Нет. Собаки стерегут отменно.

— Отлично!.. Охотники с гор спустились?

— Что-то их не видно...

Потом покурили.

Уахсит рассказывал сельские новости.

Смешил.

Шаруан тихо посмеивался.

— Чего-то в боку покальвает, — неожиданно пожаловался Шаруан. — Должно быть, простыл.

Уахсит словно только этого и ждал.

— Не запускай, — горячо посоветовал он. — Езжай к доктору, А я сменю тебя. Давно просился. Понимаешь? Нет ничего лучшего, чем летний отдых в горах! А там, внизу, душно... Возьми мою лошадь. Зачем она здесь?

Шаруан не стал себя упрашивать.

— Спасибо, я, пожалуй, так и сделаю.

— Что же, торопись! Дорога трудная, сумерки наступают,



Через полчаса он проводил Шаруана.

Вот умолк стук копыт, и Уахсит остался один...

Медленно стелилась вечерняя дымка. Все явственнее слышалось в наступающей тишине урчание реки. В горах наступал покой. Уахсит глубоко сочувствовал тому, в ком сейчас бушевала буря.

— Бедняга Шаруан! — сказал он громко. — Да, он убьет. Ничто не спасет его!

И пошел к стаду.

3

Неторопливо уходила ночь.

Неторопливо рассеивался предутренний туман.

Понемногу блекнул яркий костер при свете нарождающейся зари.

Шаруан сидел под каштаном, что стоит у ворот, и грел у огня руки. Всю ночь согревал их, а согреть так и не смог. От кончиков пальцев к самому сердцу тянулся противный холодок. Нет, в эту ночь можно было запросто умереть от злобы, умереть от сознания того, что совсем, совсем невиновен в той напасти, которая свалилась...

Да, он все видел: глаза его пристально всматривались в туман.

И он слышал шаги. Слышал, как с той, с другой стороны дома скрипнули ступеньки. Слышал, как по задворку зашагал мужчина. А затем донесся шелест кукурузных листьев.

И глаза его видели голову, повязанную башлыком.

Да, он достаточно много увидел в это утро и немало услышал...

Однако кто скажет, что он подсматривал? Разве он прятался? Он сидел у своих ворот. Сидел на виду. И костер горел всю ночь. Не его вина, если хозяйка была так занята, что не заметила огня у ворот и человека под деревом.

Но вот на крыльце появилась Ханиа. Ее сильные руки окрасились в цвет зари. На щеках пылал румянец.

Он обратил внимание на ее ляжки, туго обтянутые легким цветным платьем. Он хорошо видел ее икры и черный пушок на них. А глаза? Разве не светилась в них такая же радость, какая бывает в больших глазах оленьей самки, только что отдавшей воды из родника?

Да, он любил ее. Он выкрал ее по старинному обычаю, ибо так хотела она. А теперь? Ханиа вдруг сделалась чужою, и он готов ее убить... Вот оно как!

Она слегка потянулась, с удовольствием провела белыми ладонями по животу. Горделиво подбоченилась, все время чему-то улыбаясь.

И вдруг!..

Приметила вдруг его, своего мужа! Он сидел на камне перед догорающим костром и грел руки.

Ханиа чуть не задохнулась. Погасла заря. А в голове пронзительно металась мысль о том, что умирает Ханиа, что смерть избавит ее от позора и унижения... Но нет, молодая, пышущая здоровьем горянка не умерла, а только на время превратилась в живой столб...

Шаруану хотелось, чтобы жена пришла в себя. Он раскидал пылающие головешки, отбросил в сторону камень, на котором сидел. Вскинул на плечи куртку. А затем вперевалку зашагал к крыльцу.

— Не хотелось будить, — сказал он просто. — Вот и грелся. Это, пожалуй, к лучшему. Вчера покальвало в груди, а сегодня полегчало — всю хворь сняло как рукой. Нет ли чего поесть?

Ханиа облегченно вздохнула. «Нет, он ничего не знает, — сказала она про себя. — А то бы убил. И пикнуть не дал бы! Такой у него характер...»

Она засуетилась.

— Садись. Дай стащу с тебя сапоги... Есть мясо, молоко, сыр. Может, свежей кукурузы с медом?

— Тащи и то, и другое, и третье. А я пойду к сыну.

«Ничего не знает», — подумала Ханиа и первый раз в жизни перекрестилась, с благодарностью взирая на небо.

4

В нем как будто бы ничего не изменилось. Как всегда, работал в поле, возился в саду со своими грушами, вечерами, как обычно, просиживал на крыльце, рассказывая сыну сказки о богатырях-нартах.

А вот Ханиа изменилась. И даже очень. Словно язык проглотила. Вокруг глаз появились сеточки морщинок, румянец заметно поблек, точно и не горел пунцовым цветом на ее пухлых, с ямочками щеках. И платье обвисло на ней. И походка стала неуверенной.

Он не ругал ее, ни разу голоса не повысил. А когда приехали ее отец и мать — он их просил об этом, — поговорил с ними с почтением, не бросил в сторону жены худого словечка.

— Между нами пробежала черная кошка, — сказал он. — Ва-

ша дочь, может быть, и не виновата. Виноваты люди, которые многое видят и многое знают. Поэтому-то я и решил переехать в город. Меня уже и на завод приняли. Колхоз идет навстречу,— отпускает, хотя вроде бы и нужен ему. Хибарку себе купил на окраине города. А дом этот продаю. Ваша дочь получит свою долю. Ежели провинился в чем, я перед вами. Судите сурово.

Мать и отец не сказали ничего. Повздыхали. Зашли к Уахситу (так бывало всегда, когда они гостили у зятя). А потом укатили восвоися на собственной машине.

Через месяц наступило утро, когда всему здешнему был подведен итог: дом продан, деревья в саду — тоже, а живность съедена.

И вот тогда-то вспомнил Шаруан о своем пистолете.

— Дай-ка мне его,— сказал он.

Хания побледнела. Молча пошла за оружием, которое прятала в шкафу среди чистого белья. Не скоро она вернулась с куском страшного металла.

Он повертел в руке тяжелый пистолет, любясь серебряной монограммой. Она же стояла перед ним, дрожащими пальцами поправляя волосы.

«Эта женщина,— думал Шаруан,— без ножа зарезала меня, своего мужа. Было бы справедливо всадить в нее пулю. Будь на моем месте отец, он бы и не размышлял, а просто спустил бы курок. Это верно, спустил бы и бровью не повел! Но верно и то, что жене его никогда не пришлось бы в голову пускать к себе чужого мужчину в отсутствие мужа... Что же все-таки делать?..»

Шаруан заглянул в ее глаза и отвернулся: они казались пустыми, как отверстие в дуле пистолета.

Шаруан мотнул головой, точно приходил в себя после тяжелого сна.

— Наш сын подрастает,— глухо сказал он, щелкнув предохранителем,— а такая игрушка небезопасна. Может случиться большая неприятность. И очень даже просто. Сдам в милицию!

И по-военному направился к воротам.

Возвратился он, когда было далеко за полдень. Во дворе застал соседей. Они пришли, чтобы попрощаться с семьей Шаруана Лапан-ипа.

Жена Уахсита Зара удивленно рассматривала супругов, точно видела их в первый раз. Шаруан был весел. Да и Хания, казалось, была в духе. Зара не верила своим глазам! И так, он не убил ее, даже не оскорбил публично, чтобы знали все, что за птица она... Ну и времена! Ну и чудеса!..

На арбу погрузили мелкий домашний скarb. Хания с сыном

устроилась на вещах, а Шаруан с длинной хворостиной стал впереди буйволов.

— Прощайте,— сказал он коротко.

И арба заскрипела.

А там, за селом, где дорога раздваивалась, дожидалась грузовая машина. Шаруан пересадил на нее сына.

А потом сказал своей жене:

— Женщина вольна вести себя, как ей хочется. Это так. Но ведь и муж имеет кое-какие права... Сына своего можешь поводить, когда вздумается. Но было бы хорошо, ежели б поменьше попадалась на глаза новой хозяйке. Это ни к чему...

И он направил буйволов вправо, в сторону лесной дороги. А хворостину передал Хания. Потом взобрался на машину и постучал кулаком в кабину.

Сын все еще чувствовал на губах солоноватый поцелуй матери, но его ждала неведомая дорога, и душа его трепетала от любопытства.

А скрипучая арба, укрытая от солнца листвою столетних дубов, едва тащилась в гору. И женщина теперь уж могла заплакаться, никого не стесняясь. Совсем одна. Без свидетелей.

1959.

## ПОЗОР

— Э, брат, когда эта самая штучка падет тебе на голову, трудно за себя поручиться. Я хорошо понимаю Кадыра. И сочувствую ему. У нас со времен потопы, брат, честь превыше всего. А иначе нельзя! Я спрашиваю: кровь в наших жилах или водичка? Свет на чести держится, а на бесчестье и до вечера не дотянешь. Верно говорю?

Это Тандёл Дбуа беседовал со своим соседом через плетень. Его голос, отдававший звоном металла, хорошо был слышен в маленькой комнате, в которой прятались до смерти напуганные мать и две ее дочери.

— Мы своих абхазских обычаев забыть не можем! И не должны! Ежели задета честь, либо задыхайся от злости, либо дай ей выйти наружу,— продолжал Тандел.

Младшая дочь, услышав эти слова, прижалась к сестре и горько зарыдала. Между ними была разница всего в четыре года. Однако старшая в свои двадцать два года казалась умудренной жизнью. Она нежно гладила сестру по волосам, пытаясь ее успокоить.

— Будь я на месте Кадыра, переломал бы ребра этому недою! — громыхал Тандел.

— Слышите? Слышите? — прошептала мать, дрожа всем телом. Это была худая женщина, состарившаяся раньше времени.

Старшая дочь была, что называется, копией матери и внешне и характером: трудолюбивая, кроткая, с правильными чертами лица. Она могла соревноваться в работе на табачной плантации с любимым из мужчин. А младшая... Ах, эта егоза, доставлявшая хлопоты с самого детства! Некрасивая будто, но шустрая, точно ртуть, с притягательным огоньком в глазах и стройная станом, точно лань...

— Ежели сын твой напакостил, — сердито продолжал Тандел, — гони его прочь! Гони подальше! Честь в конце концов всего дороже!

Поскольку сосед полностью разделял его взгляды и спорить было не о чем, Тандел переменял разговор.

— Значит, и ты видел эту удивительную звезду? — спросил сосед.

— А как же! — вскричал Тандел. — Она медленно проплыла в небе, точно рыба против течения. И на что, оказывается, способен человек: звезды для себя мастерит!..

— Слава богу, — сказала мать, вытирая красные от слез глаза. — Кажется, оставили в покое этого Кадыра вместе с непутевым сыном... И все-таки как открыться перед ним? Язык не повернется!.. Ну, негодница, — обратилась она к младшей, — отвечай: как быть? Вот до чего довела ты нас! Одна теперь забота: как бы отец не убил тебя. Прости господи, но это было бы справедливо. Ты понимаешь, что ты запятнала честь нашей семьи? Или ты ничего не смыслишь?

Дочь продолжала всхлипывать. Мать, не дождавшись от нее ответа, прильнула к щелке в дощатой стене.

— Видно, говорят об этой самой звезде, что на Луну полетела... Отец отошел от плетня... Да потише ты, распутница! — прикрикнула она на дочь, которая с новой силой залилась слезами. — Ты бы лучше поплакала там, в лесу, под тем самым кустом... Вот проведает обо всем отец и всех нас перебьет... Я-то его знаю. В молодости чуть было не пристрелил меня. А за что? Только за то, что какой-то незнакомый мужчина глаза на меня пялил. Вот он какой!

— Мама, — сказала старшая, душевное равновесие которой совершенно иссякло. — Давай-ка все сама расскажу. Ведь живота не спрячешь. Вон он какой у нее!

Младшую свело, точно судорогой. Она начала задыхаться. Мать побежала за водой, быстро вернулась и стала брызгать ей в лицо. Жалость взяла верх, и мать нежно расцеловала бедную, обесчещенную дочь.

— Доченька... доченька, — приговаривала она, — ну, не плачь,

не плачь... А впрочем, плачь! — вдруг бросила она. Ее снова охватил гнев. — Спуталась с каким-то бесшабашным. С бездельником. Неучем. Что в нем? Только рост. Только смазливое лицо. Да кто же выбирает таких даже на одну ночь? Я спрашиваю тебя: кто?

— Он... он... он... — сквозь рыдания говорит виновница всех бед, — хорошие говорил слова... Он... он... обещал...

— Обещал! Говорил! А башка у тебя есть?

— Обещал... Я, говорит...

— Жениться обещал? А что он из себя представляет? Бесстыжий! На отцовской шее сидит! Вот он кто!

На крыльце закрипели половицы. Женщины тут же приумоляли.

— Эй вы, куда запропастились? — снова загромычал Тандел.

— Иду, иду!

Мать привела себя в порядок, заулыбалась изо всей мочи, стараясь подольше сохранить свою улыбку, и помчалась на мужнином зов.

Тандел распростерся на нарах. Закинул ногу на ногу. Потянулся, да так, что кости хрустнули.

— Весна торопится, — сказал он весело, — еще неделя — и можно в поле... О чем это вы все утро шушукаетесь?

Он посмотрел на жену сверлящим взглядом, от которого ее всегда продирали холодом по спине. Небрежно крутнув ус, точно заводную ручку автомашины, на которой работал вот уже десять лет, Тандел потребовал воды.

— В одно мгновение, — с величайшей готовностью отвечала женщина.

И действительно, вода появилась в одно мгновение.

— Ты слышала про этого Кадыра и его сына? — сказал Тандел, возвращая жене пустую кружку. — Каков гусь, а? Да я бы таких детей, которые честь родительскую пятнают, собственноручно удавил бы. Понимаешь, напиток, подрасться и уйти к воришкам в город! Каково?.. А где же все-таки твои девицы?

— Что?

— Я спрашиваю, где... Погоди, погоди...

Тандел приподнялся на локтях.

— Ты что от меня скрываешь, хозяйка?

— А что?

— Да на тебе же лица нет!

— На мне?

— Нет, на нашем буйволе! — грубо прикрикнул он.

Она привыкла к этому. Но всегда находила оправдание: он груб только на первый взгляд, а сердце у него доброе.

Так ей казалось. Уже давно. Не первый год...

Тандел присел, широко расставил ноги на полу.

— А ну выкладывай, что на кухне стряслось!

Женщина минутку колебалась, а потом с плачем притащила за руку ошалевшую от стыда и страха дочь.

— Вот она,— сказала женщина, на всякий случай становясь между мужем и дочерью.

Худенькая Назия не смела поднять глаз. Волосы ее спутались. Платье мято. Дрожащие пальцы туго сплетены...

— Что это за чучело? — спросил Тандел.

— Твоя младшая дочь.

— А что с нею?

— Даже стыдно сказать,— ответила жена.

Тандел насторожился.

— Что это значит?

— Она опозорила и себя и нас.

Тандел побледнел.

— Что ты хочешь сказать, хозяйка?

— Она опозорила нас,— повторила та едва слышно.

Хозяин смотрел на обеих с неизъяснимым чувством брезгливости, смешанным с такой злобой, которая немедленно должна была привести к взрыву. Силой взрыва могло разорвать в клочья не только мать и дочь, но и похоронить всю топорную семью под развалинами дома.

Первым, естественным побуждением было оторвать голову проклятой девчонке.

Однако он молчал, ничего не предпринимая...

Работая на автомашинах и тракторах, Тандел выработал в себе одно недурное качество: если что-нибудь не ладится в зажигании (оно, с его точки зрения, требовало к себе наиболее тонкого подхода: не волнуйся, перекури, обмозгуй, что и как). Это, пожалуй, было одним из важных приобретений его души с тех пор, как два десятка лет тому назад оставил буйвол и плуг, а свое поле передал артели. Вот и сейчас Тандел твердо решил поступить точно так же, как с зажиганием, ибо эти проклятые женщины не менее тонкие штучки...

Он достал сигарету, но долго не мог зажечь спичек: они лопались одна за другой.

— Убирайтесь с моих глаз! — прошипел он.

И женщины, точно тени, тихонько покинули комнату.

Дом Тандела Доуа погрузился в тишину.

Женщины перестали плакать, боясь нарушить тишину. Дети старшей дочери, напуганные чем-то необычным, присмирели у очага. Даже куры и индюки, казалось, хлопотали во дворе гораздо меньше обычного, словно тоже опасаясь нарушить тишину.

Так продолжалось часа два.

Эти сто двадцать минут прошли в семье Доуа, как сто двадцать лет. Очень скверные были эти минуты.

Глава семьи полагал, что ему во что бы то ни стало надо выгнать дочь, прокляв ее навечно и вдобавок избив до полусмерти. Пусть подыхает, ежели угодно!

Но почему-то не решился на это. И, как ни странно, искал смягчающих ее вину обстоятельств.

А дочь почти решилась броситься в реку, как бросались ее сестры в стародавние времена. Но что-то удерживало девушку от этого шага.

Мать и сестра пытались возненавидеть Назию, но тоже почему-то не могли этого сделать.

С трудом разбирался Тандел во всей этой чертовщине, но понемногу нащупывал какой-то выход, какое-то решение этого проклятого вопроса.

Наконец хозяин громко кашлянул, и хозяйка понеслась к нему, как угорелая, проклиная безголовую Назию.

Тандел возлежал, окутанный клубами табачного дыма. На полу валялись окурки: нынче он их разбрасывал как попало.

И вот он задал вопрос неведомо кому. Отвечала же на вопрос трепещущая хозяйка. «Нет, беды не миновать»,— уверяла она себя.

— Кто он? — спросил Тандел.

— Мушáг сын Карамáна,— последовал ответ.

Тягостное молчание.

— Так. Этот бездельник, значит? — сказал Тандел.

— Да, он.

— А много этому времени?

— Пять месяцев.

— Будет свататься, что ли?

— Да,— солгала жена.

— Нет! Нет! Нет! — вдруг взревел Тандел, словно его ужалили осы.— Не бывать! Не выдам дочь за бездельника.

— Позор, позор! — проговорила женщина и упала к нему на грудь.

Он и пальцем не пошевелил, чтобы успокоить ее. Муж был очень зол на жену: дочь не уберегла.

— Да, позор,— сказал он, запустив окурочек под самый потолок,— позор, ежели мы сами постареемся как следует... Не надо делать позора. И не будет его! Слышишь?

Женщина не понимала всей этой премудрости.

— Не лей задаром слез,— посоветовал Тандел.— Мы все виноваты. И ты, разумеется. Да, ты! За дочью смотреть надо! И не смей возражать!

— Нет, я просто так...

— И просто так не возражай... Плохо, очень все это плохо. Но раз случилось — не кричи на весь свет, словно умер кто-нибудь. А бездельников знать не хочю! Но время, кажется, и пообедать...

Жена поднялась.

— А ее не мучь, — посоветовал он. — Это очень вредно для здоровья в ее положении...

Хозяйка что-то пробормотала и на радостях поспешила на кухню — маленькое строение на задворке.

Она внимательно оглядела дочерей и внуков. Поправила темный платок на голове.

— Пора готовить обед! — строго сказала она. — Ваш отец проголодался.

И все вдруг завертелось, заходило, задвигалось, загромыhalo, запрыгало, затарахтело, заговорило. Провалилась куда-то тишина. Ожил дом. Вздохнула семья. И только одна Назия не могла еще полностью осознать всего того, что творилось вокруг.

— Ваш отец, кажется, немножко переменялся, — между прочим сказала мать, замешивая тесто.

А на дворе было солнечно.

Было очень тепло.

Это над горами и морями плыл апрельский день 1959 года. Должно быть, везучий этот месяц.

1959.

## МСТИТЕЛЬ

Солнце почти над головой. От жары земля потрескалась, стала сыпучей, точно песок. Слева — голая гора, и справа — голая гора. Вернее, это огромные каменные глыбы. А камень на августовском солнце, известно, что жаровня на огне.

Агим Петрэла облизнул сухие губы. Он прильнул небритой щекой к прикладу, прищурил левый глаз. Над треугольной мушкой — голова Барвюля Лёши.

Вот Барвюль задумался, постоял словно в нерешительности. Вдруг голова исчезает: это Барвюль нагибается к зеленому ящику и достает оттуда какую-то трубку.

— Постой же, черт! — шепчет Агим.

Он удобнее пристраивается у камня. Смуглое лицо напряженно, губы сжаты. И Агим словно становится старше: ему можно дать все сорок лет.

А Барвюль много моложе Агима. Барвюлю лет двадцать пять, не больше. Четыре года тому назад он уехал учиться. И вот Барвюль тут, в пятидесяти шагах. Теперь-то ему не уйти!

И снова над мушкой появляется худое потное лицо Барвюля. Должно быть, туго ему приходится на солнцепеке... Но чем же занят Барвюль?

Агим опускает ружье и присматривается к недругу.

Барвюль тем временем приладил трубку к треножнику и внимательно смотрит в нее. Куда же он смотрит? Туда, где дом Агима. Кого же он хочет увидеть в эту трубку?

Агим глотает слону, снова прицеливается. Кадък у Агима острый, некрасивый...

Что же все-таки делает Барвюль? Может быть, Барвюль подстерегает своих врагов из рода Петрэла — братьев Агима, или дядю, или самого Агима? Эти проклятые Лёши давным-давно убили отца Агима. Правда, они-таки здорово поплатились. И еще поплатятся! Скоро Барвюль Лёши почувствует, что такое настоящее хакмáрие — месть!

Истоки кровавой вражды теряются в глубине десятилетий. Род Петрэла и род Лёши — непримиримые враги. И этого вполне достаточно... Верно, нынче Албания не та, что была прежде, — придется строго отвечать перед законом. «Но закон законом, а месть мостью», — думает Агим.

Агим хорошо помнит, как убили отца, картина эта перед глазами, словно живая... Шли они рядом, отец и Агим. Головорез из рода Лёши подстерег их в засаде и поразил старого Петрэла в самое сердце. Но недолго ликовал убийца: однажды, наклонившись над горным ключом, чтобы отведать студеной влаги, он тут же свалился бездыханный. Нет, пули рода Петрэла не летали мимо цели!

Барвюль почему-то наводит трубку на тот самый камень, за которым скрывается Агим. И Агим поспешно ложится на землю. Она сухая, эта земля, как порох, даже не пахнет и вовсе потеряла цвет: пепельно-серая, без единой травинки.

Вот Барвюль неожиданно поворачивается спиной. Агим про себя отмечает: «У него нет револьвера». И целится прямо меж лопаток. А Лёши все вертится у треножника с трубкой...

Агима гложет любопытство. Очень хочется знать, что собирается делать этот Лёши. «Живешь, — размышляет Агим, — в горах и света божьего не видишь. В Тирану бы съездить да на мир поглядеть! Там, говорят, недалеко и Дуррес, а в Дурресе — целое море воды. Приятно хотя бы пальцами море понюхать!»

Агим озирается. Вокруг ни души — значит, дело обойдется без свидетелей.

А Барвюль, прильнув глазом к трубке, стоит, не двигается. Ах, вот оно что! Недалеко в землю воткнута полосатая палка. На нее-то и глядит теперь Барвюль. Как же до сих пор не прилетел эту палку Агим? И что это за палка?

Жаль, что Агиму никогда не приходилось держать в руках книгу; тогда бы он, может, и понял, что это за трубка у проклятого Леши. Впрочем, осенью Агим непременно поступит на курсы и выучится грамоте. Это теперь нетрудно. Но, черт возьми, при чем сейчас грамота! Надо стрелять — и дело с концом!

А Леши что-то записывает в тетрадь. Хорошо бы узнать, что ему тут надо.

И Агим решается: он оставляет ружье за камнем, а сам как ни в чем не бывало подходит к Барвюлю.

Барвюль не сразу узнает Агима. Наконец он произносит непринужденно:

— А, это ты, Агим? Привет тебе!

— Здравствуй,— отвечает Агим.

— Вот и до нас дошла очередь,— говорит Барвюль.

Эти слова Агим понимает по-своему.

Барвюль вытирает пот со лба и делает пометку в своей тетради.

— Вижу, что дошла очередь.— Голос Агима глухой, недружелюбный, будто из-под земли идет.

Барвюль словно не замечает этого недружелюбия.

— Послушай, Агим,— говорит,— не окажешь ли небольшую услугу?

— Какую?

— Мои помощники что-то запаздывают.

— Так что же? — Агим глотает слюну.

— Не поддержишь ли рейку? Вон на том месте, где стоит вешка.

— А зачем?

— Видишь ли, Агим, мы здесь проводим канал. Он пройдет недалеко от твоего участка. Вот я и говорю: дошла очередь и до нашего села. Воды у тебя будет вдоволь, хоть купайся в ней!

— Воды?

— Да, воды.

— Воды? — еще раз переспрашивает Агим.

— Канал будет полноводный,— продолжает Барвюль.— Его-то я и намечаю на местности.

— А ты по какой части? Где учился?

— Инженер я, Агим, инженер по каналам. А учился в Мо-

Агим подходит совсем близко к своему «кровнику».

— Вода?.. А ты не шутишь? — говорит он, хрипя, должно быть, от жажды.

Барвюль и Агим стоят лицом к лицу. Нет, Барвюль не шутит. Эти Лeши никогда не шутят!

Агим молчит, посапывает, исподлобья поглядывает на Барвюля. А потом, не говоря ни слова, берет складную рейку с делениями и становится против трубки. Ради воды он готов простоять под солнцем и день, и два, и три...

«Неужели будет вода? — думает Агим и отвечает на собственный же вопрос: — Наверное, будет. Раз этот Лeши говорит, — значит, будет. У них в роду никогда не нарушали слова». И он улыбается тому, как смешно целится Барвюль трубкой прямо в рейку, которую прочно держат шершавые руки Агима Петрела.

*Тирана — Москва. 1952.*

## ПАСТУХ ВИЭРУ

Скоро рассвет, а Георге Виэру так и не удалось сомкнуть глаз. Мучит проклятый ревматизм: что называется, и сон бежит и явь нейдет.

Виэру корчится от боли и стонет. «Быть непогоде», — мелькает в голове. Такое бывает только к перемене. Виэру плотно сжимает зубы, и они скрипят. Проклятый ревматизм!

И все это из-за дьявола Гинеску... Виэру стонет пуще прежнего, потому что к боли в ногах добавляются еще и черные воспоминания.

Гинеску служил управляющим в имении помещика, известного в Восточных Карпатах. Это был жилистый, сухой и высокий человек с оловянными глазами. Вытянутое лицо, острый нос и черные усы, как у цыгана... Что еще запомнилось? Руки, точно у орангутанга, длинные, почти до колен. А в руках или трость, или кнут. Чаще всего кнут. У этого Гинеску разговор был короткий — даром что управляющий у самого известного в Восточных Карпатах помещика! А Виэру пас свиней, ходил под началом у Гинеску и должен был снимать перед ним свою рваную шапку, кланяться до самой земли. Гинеску словно и не замечал этих поклонов. Наплевать было ему и на поклоны да и на самого пастуха.

Однажды помещику захотелось посмотреть своих свиней. Вот Гинеску чем свет примчался в коляске. Утро было осеннее, хмурое. Дул сильный ветер, он пронизывал насквозь.

— Гица! — услышал Виэру. — Гица, куда ты запропастился? Георге вскочил с соломы, на которой спал в мазанке, рядом со свинарником.

— Слушаю вас, господин управляющий! — протараторил Георге спросонок, представ перед Гинеску.

Гинеску поглядел на пастуха своими оловянными глазами, словно в пустоту, недовольно повел усами и прошипел, точно змея:

— Живо мыть свиней!

Георге не сразу понял, чего от него требуют. Мыть свиней? А чем же занимался Георге вчера? Именно мытьем этих самых свиней, черт бы их побрал совсем! Ходят они словно мраморные, несмотря на осеннюю грязь. Но все это достается потом и кровью пастуха... Георге находит в себе мужество возразить, хотя он понимает, что шутки с господином управляющим весьма плохи.

— Они чистые, господин управляющий, — сказал Георге.

— А я говорю: мыть!

Георге снял шапку и проговорил:

— Будет исполнено, господин управляющий!

Весь день Георге Виэру простоял в воде. Босой бегал к колдоду. Мерз на ветру. И с этого времени стали ныть ноги. Боль все усиливалась. Наконец Виэру свалился и пролежал на своей соломе целый месяц...

Гинеску о нем и не вспомнил. Да разве мог думать о каком-то пастухе важный Гинеску?..

Вот откуда у Георге этот самый проклятый ревматизм!..

Георге поворачивается лицом к стенке и скрежещет зубами: нет болезни хуже ревматизма!

Во дворе хлопочет жена. Она пытается успокоить собаку, которая вдруг залилась яростным лаем. Должно быть, кто-то явился... Верно, сюда, в комнату, доносится чей-то басовитый голос... Немного погодя на цыпочках входит старуха...

— Гица, — говорит она тихо, — ты не спишь?

Георге трудно пошевелить губами. Он предпочитает прикинуться спящим.

— Гица, тебя зовут.

Эти слова оказывают немедленное действие: Георге вскакивает — сказывается старая привычка, выработавшаяся за долгую службу у помещика. В то время было так: говорят «вставай» — значит, не мешкай. Управляющий терпел всякое терпение, если его приказы выполнялись не молниеносно...

Жена испуганно шарахается от Георге — он так неожиданно подпрыгнул в постели.

— Что с тобой, Гица?

— Ты же сказала, что зовут...

— Тебя вызывают в правление коллективного хозяйства... А я сказала, что ты болен...

— Я, слава богу, болею не первый год. Вызывают — значит, дело срочное. А зачем — догадываюсь: надо сено убирать, непогода на носу.

— Мне этого не говорили, — замечает жена. — А сказала я сущую правду. Если бы ты знал, как стонал ночью! На дворе собираются тучи. Наверно, быть дождю. Ты всю ночь ворочался в постели.

Георге закашлялся, свесил с кровати ноги.

— Не все говорится, надо и самой кое-что понимать. Вся ночь мне снилась эта свинья Гинеску. У меня такое чувство, точно я в грязи провалялся. Я не знаю, жив ли он сейчас, очень хотелось бы повидать его и поговорить с ним по душам. А что касается ревматизма, — продолжает Георге, — то, пожалуй, лучше будет, если я пройдусь. Пора страдная, и хозяйству нужны лишние руки — это несомненно. Раз так, мне неудобно тыкать всем в глаза этот свой ревматизм. Гинеску ни на что не посмотрел бы, а тут, как ни говори, о собственных доходах речь идет.

Жена понимает, что раз Георге решил, его не переубедишь. Она молча варит кофе.

Георге торопливо одевается, расчесывает густые иссиня-черные с проседью усы. Проглотив чашку кофе, он выходит на улицу, тяжело опираясь на палку.

Георге шагает, пытаясь не выдавать боли в ногах. Ему не хочется, чтобы люди, глядя на него со стороны, вдруг сказали бы: «Осень, пора урожаем снимать, а Георге согнулся в три погибели». А злые языки, пожалуй, еще и связят: вот, дескать, знает же Георге, когда надо слечь в теплую постель. Нет, Георге не выкажет своей немощи. «Поболит — пройдет, — говорит он про себя. — А нынче просто стыдно болеть: свое, общее хозяйство — значит, надо работать, а не хныкать».

Вот оно, небольшое светлое здание; в нем помещается правление коллективного хозяйства. За письменным столом — председатель правления, его заместитель и два члена правления.

Председатель — человек молодой, из бывших батраков. За год выучился грамоте, съездил в Бухарест, побыл там месяца три и вернулся оттуда, точно снова родился на свет. Память у него, как говорится, светлая, всех знает по имени, каждую цифру наизусть помнит, разбуди его ночью — расскажет, что и где из общего добра лежит. Он родился на берегу Черного моря, почти всю молодость в батраках провел. Его прежде и

за человека не посчитали бы, а поглядишь на него сейчас — не наглядишься, молодец молодцом!..

— Здравствуй, Гица, — говорит председатель. — Болеешь?

— Я болею? Да откуда вы взяли? Просто ноги занули — вот и все. Если надо ехать на поля, я готов! Дело идет к непогоде, надо поторопиться.

— Все это так, товарищ Гица. Однако мы побеспокоили тебя по другому поводу... Мы решили, Гица, послать тебя на лечение.

— На лечение? — удивился Георге.

Председатель поясняет:

— Мы просили областной Народный Совет кое в чем помочь нам... Вот и придется тебе, Гица, поехать на грязи. Месяц лечения. Что скажешь?

Георге Визру опускается на табуретку и пристально смотрит на людей, сидящих за столом, словно видит их впервые. Это такие же простые крестьяне, как и сам Георге. Они тоже хлебнули немало горя в старой Румынии и хорошо знают думы крестьянские. И сами, небось, о многом думают и мечтают.

— Послушайте, — говорит Георге, — вы все стоворились, что ли? Никто из вас не смеется.

— Смеяться? По какому поводу, Гица?

Георге не сводит глаз с председателя.

— Откуда вы взяли все это — насчет лечения? Что я, помещик, чтобы на грязи ездить?

— Мы полагаем, что помещики тебе и в подметки не годятся.

И председатель заливается смехом. Очень, должно быть, смешно видеть перед собою сутулого, старого Георге Визру, который не верит в свое счастье.

Георге просит, чтобы председатель еще раз повторил все сказанное.

Ему говорят:

— Верно, Георге, все верно: ты едешь на курорт. — И протягивают ему зеленую бумагу.

Георге растроган до глубины души. Он теребит усы и не сводит глаз со своих друзей. Значит, теперь у Георге есть кому подумать и позаботиться... Прежде его болезнь никого не интересовала. Кому была охота возиться с больным? Гинеску говорил: «Большой что заноза: надо поскорее освободиться от него...» Вот почему в помещичьей усадьбе прежде не было больных крестьян — одни здоровые: свалился — значит, выволакивай его за ворота!..

Георге Визру говорит:

— Стоит ли?.. Обойдется как-нибудь... К тому же дело это неслыханное...

И он пытается спрятать глаза. Но как их ни прячь, они все же блестят...

*Бухарест — Москва. 1952.*

## БЕДА

«Ужас! Невиданная от века беда! Кажется, вдребезги разбился небесный купол и осколками усыпает землю!.. О аллах, что делать?»

Руфат Кабадабаев вовсе потерял голову: за каких-нибудь два часа он пожелтел, словно после жестокой болезни. Глаза лихорадочно горят, будто уголья в мангале, руки судорожно сжимаются в кулаки...

Куда идти? Кому высказать свое горе?

Сердце бешено стучит. Черная пелена злобы легла на глаза. Душа жаждет мести. Именно мести. Только мести! А все-таки что лучше: действовать немедленно или же?..

Аллах, опять это малодушное «или»! Откуда оно? Только кровь способна смыть этот позор. Где нож? Он всегда был под рукой, а нынче как нарочно запропастился куда-то! Или, может быть, подождать немного, например, час, или два, или же до утра?.. Опять эти проклятые «или»! Не узнает себя Руфат: где же прежний твердокаменный магометанин, верный последователь отцовских обычаев?

Руфат выбегает из дому так быстро, что даже шаткие ступеньки не успевают скрипнуть под ногами. Тропинка крута и коварна, но и она в одно мгновение остается позади Руфата. Скорее подальше от этого жилища!..

В угрюмом молчании стоят высокие горы. Молчат еловые леса. Кажется, и леса и горы собрались вокруг Рудозема, чтобы посмотреть, что делается в ущелье, где от сотворения мира не было никакого города, где всегда было тихо и спокойно, где одиноко шумела Арда, где всегда все шло по неписаному закону прадедов, где всегда царствовал крепкий дух старины, казалось, несокрушимый, как буйволы рога.

Горы Руфату представляются нынче удивленными. И есть чему удивляться даже этим великанам: за каких-нибудь три года вырос из пеленок город Рудозем и теперь не вмещается в долине Арды. Крытые черепицей дома, словно потоки, растекаются меж гор, и перед ними отступают не только девственные леса, а и скалы, дотоле не знавшие силы рук человеческих.



Руфат замедлил шаги: не хватает воздуха для легких. Он знает: это от злобы, а не от усталости. Синьки в воздухе становятся все больше. В этот сумеречный час дневной свет исчезает так же быстро, как заяц на шоссе. Наверху загораются звезды, крупные южные звезды, а навстречу их холодному свету несутся огни Рудозема — яркий свет тысячи электрических лампочек, — и под немигающими лучами отступает мрак в Родопских горах.

Руфату сорок пять лет. Он худощав и смугл, как и тысячи его собратьев-помáков, некогда вручивших свои души великому пророку Магомету, а не христианскому богу, как остальные болгары. В последние годы жизнь улыбнулась Руфату и его друзьям: построили Рудозем, а в Рудоземе — фабрику, на которой Руфат зарабатывает немалые деньги. В доме у Руфата зажегся электрический свет, появилось радио, жена приобрела новые ковры... Словом, все складывалось как нельзя лучше. И вдруг...

И вдруг такая напасть; как подумаешь, кровь в лицо бросается. Спрашивается: что же теперь делать? Кому жаловаться? Небось, отцы и деды не задавали себе таких вопросов. Все было ясно, и ножи сверкали в их руках, кровью наказывая слушание... Нет, с некоторых пор Руфат определенно труслив в семейных делах, нет в нем прежней железной непреклонности главы семейства. Что с ним сделалось?..

Руфат шагает по освещенным улицам, машинально направляется в кафе: там наверняка удастся отвести душу в беседе с неунывающим и веселым Смаилом, старым другом детства.

Руфат уже на пороге кафе. В накуренном зале знакомые лица. Кажется, все они смотрят на вошедшего и злорадно улыбаются: дескать, вот на чью голову пал позор. Что им чужая беда, если говорить откровенно! Разве так уж много в этом зале настоящих магометан, готовых на отчаянные поступки во имя веры?

Как во сне, переступает Руфат через порог и видит своего закадычного друга на обычном месте — в левом углу. Смаил сидит один, голова его свесилась над крохотной чашкой кофе. Нет, Смаил нынче почему-то не шутит с соседями по столику, не смеется громко, а сидит тихо, точно пришибленный.

Однако Руфат не придал особого значения настроению Смаила: собственная беда сильнее, чувствительнее, она заслонила все остальное. Руфат тяжело опустился на стул.

— Смаил, — начал Руфат, задыхаясь от волнения и не глядя на небритого Смаила, — есть у тебя нож?

Смаил выпрямился и отставил кофе подальше от себя: уж очень несуразным показался ему вопрос насчет ножа.

— Нужен очень острый нож, — продолжал Руфат.

Большие пухлые губы Смаила судорожно дрогнули, словно хотели произнести что-то. Но вместо слов до слуха Руфата донесся зубовный скрежет. Руфат же был слишком поглощен своими мыслями и не обратил внимания на это вовсе не пустяковое обстоятельство.

— Смаил, — проговорил Руфат с мрачной решимостью в голосе, — мне надо посоветоваться с тобой. Может быть, выйдем отсюда?

Смаил, не говоря ни слова, встал и двинулся к выходу, предупредив официанта, что скоро вернется.

— Говори, — пробасил он на улице.

— Не здесь. Пойдем к реке. Все должно остаться между нами.

Река была в полусотне шагов. Арда катила волны с шумом, и казалось, что это работает бойкий цех на местной фабрике. В лицо дохнуло свежестью горной воды. И только в эту минуту Руфат подумал: «Отчего такой невеселый мой друг?» Он взял Смаила за рукав и, заглядывая ему в глаза, нынче почему-то очень грустные, заговорил неожиданно осящим голосом:

— Нешуточное дело, Смаил. Вонзи в меня булавку — кровь не пойдет. Зато я знаю, у кого она брызнет фонтаном!

— Что случилось, Руфат?

— Слушай же внимательно... Нет, я не могу...

Руфату очень стыдно, и он тащит Смаила в темень.

— Ну, говори, Руфат, говори.

И Руфат с трудом, будто при последнем издыхании, выговаривает слова:

— Она сказала, Смаил... Она решила, что ференджэ<sup>1</sup>... Словом, собирается лицо открыть... И завтра же хочет на фабрике появиться. Прямо в народе...

Смаил молчит. А голос у Руфата окончательное сел.

— Позора такого я не вынесу, — шипит он, — не из таких-ских я! Я ей сказал: откроешь лицо — получишь нож по самую рукоятку.

— А она что?

— Она смеется.

— Разве она такая бесстрашная?

— Не знаю. Я сказал ей: на фабрику явишься — голову сниму.

— А она что?

— Все смеется.

— Руфат, ты говоришь о своей супруге?

<sup>1</sup> Ференджэ — чадра.

— Да!

— Неужели о своей супруге?

— Да!

— Неужели о своей супруге?

Нельзя сказать, чтобы Смаил хотел поиздеваться над своим другом: это было бы не только жестоко, но и подло в этой ситуации.

— Я тебя спрашиваю вполне серьезно,— говорит Смаил,— это твоя супруга выкидывает дурацкие коленца?

— Я говорю...— шипит безголосый Руфат,— я говорю о собственной жене, шайтан бы ее забрал! Я имею в виду свою многоуважаемую супругу... любезную супругу, сто болезней на ее голову!.. А теперь ты доволен моими объяснениями?

— Значит, так: ты грозишь, а она смеется?

— Да.

— Ты о ноже, а она хохочет? Она уверена, что ты не по-смеешь?

— Думаю, что да.

— А сам-то ты уверен в себе?

Руфат чуть не подпрыгивает на месте.

— Кажется, и я не уверен, Смаил. В том-то и вся беда! Иначе я всадил бы нож.

Смаил задумывается. Он берет Руфата под руку, и они идут вдоль берега. Сделав два десятка шагов, друзья возвращаются назад. Руфат с нетерпением ждет, что скажет ему Смаил, что он посоветует в этом почти безнадежном положении.

Вдруг Смаил начинает хохотать. Он хватается за живот и приседает на корточки—такой безудержный смех способен даже с ног свалить... Смаил хохочет и приговаривает:

— Это ужасно смешно!.. Это ужасно смешно!..

Руфат остолбенел и не знает, что делать. Обидеться? Повернуться и уйти? В самом деле, как быть? Что это за смех такой?..

...Спустя пять минут они сидели за столиком на обычном месте — в левом углу зала. Смаил говорил очень тихо:

— В мире происходят невероятные вещи, Руфат. Это ужасно смешно, но моя хозяйка обещала поступить точно так же, как и твоя. Сговорились они, что ли? Мне бы следовало убить ее, как и тебе свою. Но я не знаю, что с моим сердцем и моей рукою.

— И я тоже не знаю,— пробормотал Руфат.

Смаил сказал:

— Остается одно, Руфат: чтобы нам в дураках не оказаться, не подавать виду — мы ничего не замечаем. Понимаешь? Сбросили ферендже? Аллах с ними. На фабрике хотят работать?

Аллах с ними. Между прочим, до твоего прихода я тоже не знал, как мне быть. Но теперь-то я уверен: это единственный и притом самый мудрый выход.

Руфат внимательно выслушал своего друга, несколько раз затянулся сигареткой и после долгого молчания сказал удивительно спокойно:

— Ты так думаешь? Ну что ж, давай-ка выпьем по рюмке ментовки, с нею, по-моему, легче хлебать горе...

*София — Москва. 1955.*

## ИСХОД

— Видите, как хорошо и как просто, пан Новак!— сказал герр Штаубе.

Он поднял бокал. Сделал небольшой глоток. Почмокал пухлыми губами.

— Ничто не может сравниться с токайским,— продолжал немец.— Пан Новак, еще раз ваше здоровье!.. Вы очень плохо кушаете и мало пьете. А ведь здесь уютно. Мне здесь нравится. А вам? Тоже? Этот гуляш и это вино напоминают мне веселый Пешт. Я люблю Венгрию.

Герр Штаубе говорил тихо, и улыбка не сходила с его лица. Из-за больших эллиптических стекол смотрели два водянисто-серых немигающих глаза. И улыбка казалась искусственной, какою она на самом деле и была. Яркую лысину окаймляли иссиня-черные волосы, тщательно подстриженные.

Это был крупный мужчина, одетый по самой последней моде: пиджак, застегнутый высоко на груди, и узкие, без манжет брюки.

Немец весело рассказывал о том, как явился невольным свидетелем (он подчеркнул интонацией слово «невольным») венгерских событий в октябре прошлого года. Ему повезло: редакция одной западногерманской газеты предоставила корреспондентскую машину, и он все видел собственными глазами. Хотя было и не до вина, но все же на острове Маргит нашелся тихий уголок, где можно было полакомиться острым гуляшем и токайским...

Новак слушал рассеянно. Суховатая фигура, склоненная над тарелкой, являла вид человека, чем-то внутренне озабоченного. Шея наполовину как бы ушла в плечи, и все внимание его, казалось, сосредоточилось на кончике вилки, которую он вертел в руках.

В ресторане «Будапешт» людно, жарко. Заняты все места.

Оркестр исполняет какую-то итальянскую песню, переведенную в ритм фокстрота. Танцующие пары снуют в беспорядке.

Новак в такт оркестру начинает постукивать вилкой о край тарелки. Нет, ему определенно не хочется ни пить, ни есть...

— И хорошо и просто,— повторял довольный герр Штаубе.— Здесь у вас, в Праге, к туристам весьма предупредительны.— Он понизил голос до шепота: — Ей-богу, это значительно проще, чем прыгать с парашютом и садиться на какое-нибудь сучковатое дерево.

Герр Штаубе громко рассмеялся. Новак остановил его взглядом.

— Нас никто не слышит,— сказал герр Штаубе.— Ведь у вас поощряют встречу простых граждан с туристами. Не правда ли? Это очень хорошо! Я нашел вас быстро по телефонному справочнику.

Новак поморщился.

— Герр Штаубе,— сказал он сухо,— может быть, мы перенем тему нашего разговора? Я не турист. Больше того: я житель Праги!

Герр Штаубе возразил:

— Чем проще будете вести себя за столом, тем лучше. Вы же с официальным немецким туристом, вашим старым соседом по Крумлову. Были мы добрыми соседями или нет?

— Были,— выдал из себя Новак и нахмурился.

Вледное, воскового цвета лицо сморщилось. Чех словно постарел на десяток лет тут же, на глазах своего старого друга.

— Пан Новак, мы всегда находили с вами общий язык. Послевоенные события нас разлучили: вы оказались в Праге, я — в Мюнхене. Что поделаешь! Судьба играет человеком. Именно играет, пан Новак. Притом иногда жестоко. Но мы с вами остались друзьями. Выпьем за это.

Пану Новаку под шестьдесят. Но за всю свою жизнь он не чувствовал себя так гадко, как в настоящую минуту за этим столом. Его мутило при мысли, что этот разжиревший господин смеет разговаривать с ним, как с мальчиком,— по-отечески снисходительно. Почему? Только потому, что он, Новак, связан невидимой нитью с этим наглым разведчиком. Верно, было такое в прошлом. Но прошлое, казалось, поросло бильем. Казалось, что с падением райха Новака оставят в покое. Да не тут-то было! Снова явился этот Штаубе, но на сей раз от имени долларовой державы. Да, от нее самой!

Пан Новак снова оказался в цепких руках. И в цепких и неумолимо суровых... Когда позвонил этот тип, Новак не поверил своим ушам. Настойчивое приглашение в ресторан «Буда-

пешт» повергло Новака в смятение. С той минуты он не мог смотреть в глаза жене, сыну, дочери.

Как всегда, герр Штаубе делает вид, что шутит. Это у него выработалась такая манера. Болтает о том, о сем, о каких-нибудь пустяках, приберегая под самый конец всегда самое страшное. Но на этот раз его опередит пан Новак. Это решено твердо!

— Герр Штаубе,— говорит Новак как можно тише,— мне хочется сказать вам кое-что... О себе, разумеется. С тех самых пор много воды утекло. Со времен Крумлова. Надеюсь, я выражаюсь достаточно ясно. Я постарел. У меня взрослые дети. Они получили высшее образование. Хорошо устроены. Вы меня понимаете, герр Штаубе? И, наконец, я считаю, что народная власть в Чехословакии прочно утвердилась. Это факт. И мы неизбежно будем обречены на провал. Так я думаю...

Герр Штаубе налил себе вина и вопросительно глянул на собеседника. «Что это с ним?» — с тревогой подумал он. И, тем не менее, сделал вид, что не придает никакого значения словам Новака.

— Ну что ж, пан Новак,— сказал Штаубе,— рад за вас. Я передам шефу, что вы чувствуете себя хорошо. И вы и ваша семья. Однако я не понял, что вы сказали насчет народной власти. Надеюсь, пошутили?

— Ничуть,— жестко ответил Новак.

— Вы это серьезно?

— Выслушайте меня, герр Штаубе, и вам все станет ясно... Словом, я на жизнь не жалею. Сказать по правде, и на правительстве жаловаться не приходится. Думаю, что суверенная республика лучше, чем гитлеровский протекторат. Что вы скажете?

Герр Штаубе насторожился.

— При чем здесь протекторат? — сказал он все с той же улыбкой.— В конце концов мы с вами не политики. Может быть, вы вступили в эту самую... коммунистическую партию?

Новак отрицательно покачал головой. Выждав, пока чуточку поуймется оркестр, он сказал:

— Я просто стар и устал от всего

— Как это понимать, пан Новак?

Новак перевел дух.

— Я был бы признателен, герр Штаубе, если бы вы позабыли о моем существовании. Хотя бы ради старой дружбы.

Штаубе разрезал мясо. Он застыл на мгновение, подумал и procedил сквозь зубы:

— Не-воз-мож-но...

— Я очень прошу, герр Штаубе.

— Не-воз-мож-но...

Герр Штаубе решил, что с этим вопросом покончено, и обратил все свое внимание на танцующих. Под клубами табачного дыма мужские и женские фигуры, ничем особенно не примечательные, переступали с ноги на ногу неторопливо и чинно, как и положено в первоклассном ресторане.

— Красивая дама,— произнес герр Штаубе, указывая глазами куда-то вправо.— Не знаете, кто она?

— Не знаю, герр Штаубе. Так вот, я прошу...

— Очень, очень элегантно...

— Я был бы вам обязан за услугу...

— И с нею какой-то лысый...

Пан Новак налил вина в свой бокал и залпом осушил его. Как бы отнеслась дочь, думал Новак, если бы она узнала, с кем он сидит в этом ресторане и какие ведет разговоры? Наверное, отреклась бы от него! А сын? Тот просто взбесился бы. Верно, с этим надо кончать. Во что бы то ни стало! Что было, того уж, конечно, не вычеркнешь из жизни. Но продолжать и дальше черное дело нельзя. Никто этого не простит: ни близкий, ни дальний.

Новак снова поднимает полный бокал вина и, кажется, окончательно набирается решимости.

— Нет,— говорит он упрямо,— это надо кончать. Они мне доверяют. Они делают хорошее и для меня и моей семьи, и я не желаю... Да, не желаю гадить... Они не знают о моих прошлых связях. И я хотел бы покончить с этим...

Новак закрывает глаза, точно перед ним бездонная пропасть. От переносицы через весь лоб проходит глубокая линия, похожая на восклицательный знак.

— Надо кончать,— говорит он решительно.

— Ужин кончать, что ли?— издевательски спрашивает Штаубе.— Во-первых, я турист, и мне положена определенная доза развлечений. Во-вторых, о делах потом...

— Нет, не потом, а сейчас же. Немедленно.

— Вы сегодня невыносимы, пан Новак.

— Я заявляю официально: на меня в своей деятельности больше не полагайтесь. Это решение созрело у меня постепенно. И оно окончательное.

У Новака от волнения дрожат руки. На носу выступают капельки пота. Он встает из-за стола. Выкладывает на стол двадцать крон— свою долю за ужин.

— Я ухожу, герр Штаубе. Один ваш звонок — и я обо всем заявил органам безопасности. Вам это понятно?

У пана Новака странно сверкают глаза.

Герр Штаубе умеет вести себя на людях. Он хорошо вос-

питан. Но он, кажется, готов свернуть ударом челюсть этому трусу.

Новак медленно проходит меж тесно поставленных столов и скрывается за дверью.

Теперь уже герру Штаубе не до ужина. Он взвешивает все возможности и приходит к выводу, что Новак уже потерян. Это факт. В этих условиях важно знать: заявит Новак или не заявит? «Заявит»,— решает герр Штаубе. Так подсказывает ему интуиция. Он отдает себе отчет в том, что надо отсюда уезжать. И чем скорее, тем лучше.

Он подзывает официанта и говорит ему:

— Счет.

А про себя добавляет:

«Проклятый Новак! Заявит, Непременно заявит...»

Прага — Москва. 1957.

## НА КРАЮ НОЧИ

Выстрелы раздались где-то в камышах. Шандор Мэрки выглянул во двор. Ни свет ни заря. Над Балатоном стоит вязкий туман. Из зарослей доносятся людские голоса.

...Вот еще выстрел.

— Шани,— умоляет Шандора старая Ёржи, цепляясь за рукав мужа.— Поберегись. Подумай хотя бы обо мне.

Но Шандор упрям. Надо же узнать, говорит, что происходит там, на берегу. Неспроста же стреляют.

— Шани,— шепчет Ёржи,— нынче всюду шныряют эти голворезы. Не лезь ты в пекло.

Старик горбится на осенней прохладе. Лицо и руки быстро влажнеют в тумане. В пяти шагах ничего не видно. Но и сидеть взаперти, словно крот в норе, ей-ей, негоже. Надо же поинтересоваться, что происходит у тебя под боком... За последние десять дней черт знает что творится на Балатоне, как, впрочем, и во всей Венгрии. Отовсюду повывлазили, точно тараканы, какие-то молодчики, с австрийской границы понаехали автоматчики и хозяйничают себе, убивая честных людей направо и налево.

— Я подойду к калитке и тотчас же вернусь,— говорит Шандор.

— Шани, не ходи... Они и не посмотрят на твои седины.

— Я же только до калиточки.

— Шани...

— Ёржи... Бёшке моя,— ласково обращается муж к своей

старухе,— я же все-таки мужчина. Стреляют под боком, и не казать носа — просто позор.

Шандор осторожно, переступая с ноги на ногу, продвигается к калитке.

Можно сказать, ночь еще, точнее, самый краешек ночи, когда она вот-вот кончится, а до рассвета далеко. Вокруг молочно-серый туман. Липкий. Непроницаемый. Зябко в этакой жиже. Неуютно, как и в эти последние десять дней сумятицы, перекинувшейся из Будапешта на всю страну... Что-то дальше будет?

Вдруг перед самым носом вспыхивает ярко-желтый свет и раздается чей-то грубый голос:

— Хозяин! Марки Шандор!

— Кто там?

— А ну-ка сюда, да поживее!

Шандор с головы до ног освещен ярким светом. И при свете фонаря ночь становится еще темнее. Вот теперь-то действительно ни зги не видать.

У самой калитки вырастают черные неподвижные фигуры. Туман вокруг фонаря светится большим, рыхлым комом, рассеивая свет, в котором можно кое-как разглядеть непрошенных гостей...

Их пятеро. Они в беретах, спортивных кожаных куртках. А лиц не разглядеть.

— Марки Шандор? — спрашивает тот, который держит в руках толстый цилиндр фонаря.

— Да, я.

— Вас-то и надо! Вы знали такого — Петё Пала?

Шандор пытается заслониться ладонью от яркого луча.

— Да, я знаю Петё Пала. Это председатель нашего кооператива...

Его обрывают.

— Бывший, Марки, бывший! Можете полюбоваться — он в камышах валяется.

От этих слов Марки закачался, словно от порыва бешеного ветра. Глаза у него расширяются, и он хватается руками за голову.

— Боже мой,— тихо говорит он,— значит, вы его...

— Успокойтесь, Марки. Все это пустяки по сравнению с тем, что услышите сейчас...

— Кто вы? — спрашивает Шандор.— И нельзя ли убрать этот свет?

Луч скользит книзу и огромным пятном застывает на земле у самых ног Марки.

— Вы на чьей земле живете, Марки? — спрашивает все тот же голос.

— Как на чьей? На своей.

— Дудки, Марки! Не прикидывайтесь овечкой. Хозяин земли здесь. Он, слава богу, жив и здоров.

Луч фонаря подскакивает и выхватывает из темноты сухощавое, бледное лицо с узкими прорезями глаз и бледными, туго сжатыми губами.

— Это господин Эстергази, сын того самого, у которого вы и ваши сообщники землю украли.

— Как так украли?

— Очень просто, Марки. И не только землю в пятьдесят тысяч хольдов, но и все дома.

Шандор огоршен. Значит, сам молодой Эстергази, отпрыск того самого Эстергази!

Ему говорят:

— Чтобы к утру убрались ко всем чертям, если дорога вам жизнь. О деталях можете посоветоваться с вашим председателем: он близко, в камышах!

Господин Эстергази беззвучно усмежается уголками губ, и в его маленьких зрачках вспыхивают желтые, недобрые огоньки.

Шандор вынужден возразить. Если бы вопрос не о земле, он и слова бы не вымолвил перед этими убийцами Петё, но земля... Она дороже жизни! И тут Марки ничем не запугаешь...

— Эта земля досталась мне согласно реформе. У меня на этот счет есть документ.

Господин Эстергази поясняет:

— С прошлым покончено, человек. Господин Имре Надь решил положить конец безобразиям. Или вы еще спите, Марки? Вы слышали, что в Будапеште революция? Слышали, что там заседают правительство господина Нада?

Марки глядит на незнакомцев исподлобья. Наяву ли все это? Скорее всего ночной кошмар. Это, говорят, бывает во сне на краю ночи — когда ни свет ни заря. Верно, должно быть, случается. Человек, говорят, во сне все видит и слышит, как наяву. Ему кажется, что все правда, а потом рассветает, исчезает туман, и оказывается — ночной кошмар! Ночь порою выкидывает удивительные штучки. Вроде этой, например. Откуда, скажем, взялся этот Эстергази со своими молодчиками? Казалось, давным-давно сгинул он вместе с Хорти Миклошем, вместе со всеми графами и баронами. Черт знает, что способна выплюнуть осенняя ночь из своей черной пасти! Верно, кошмар это какой-то. Не иначе...

— Ваши документы,— слышится повелительный голос

Эстергази,— можете сохранить себе на память. А землю вернуть без промедления! Если пожелаете, Марки, я беру вас в работники. Об этом необходимо сообщить сегодня же утром. Не позже девяти.

Шандор снимает кепку и проводит по лбу тыльной стороной ладони. Кожа на руке шершавая, словно наждачная бумага. Он хорошо ощущает ее шершавость... Нет, все это наяву, и ни о каком сне не может быть и речи. И потом эти выстрелы. Они звучали в ночи... Значит, погиб Петё Пал... Бедный человек! Сколько он выстрадал, батрача с утра до вечера у этих господ Эстергази! Петё часто говорил нерадивым членом кооператива: «Вспомните помещика Эстергази». И люди, припомнив былое, брались за работу по-настоящему. Так вот, значит, Пала уже нет...

— Господин Эстергази,— возражает старый Шандор,— в этой хижине живем я и моя старуха. Мы немало сделали добра вашему батюшке. И несправедливо прогонять нас с этой земли. К тому же и закона нет...

Один из молодчиков тычет Марки под нос дуло новенького автомата.

— Ну-ка, старик, понохай. Что, приперчено?

Человек с фонарем глухо смеется. Ему смешно оттого, что старик машинально отпрянул от дула и с головы при этом слетела кепка.

— Ну, каков закон? — спрашивается Эстергази.— Правительство господина Надя опирается на настоящий закон. Ясно вам теперь, Шандор-бачи?

Шандор трет рукавом кепку и снова нахлобучивает ее на голову.

— Значит, утром? — спрашивается Шандор.

— Не позднее девяти.

— И с вашей стороны никакой милости не будет, господин Эстергази? Мы же старики...

— Нет,— отрезает Эстергази.

Фонарь светит прямо в глаза Шандору-бачи и вскоре гаснет. Люди поворачиваются и уходят. Подкованные ботинки глухо отдают в ночи.

И вот уже исчезли ночные посетители. Над Балатоном туман. В камышах молчание. Вокруг сплошная темень, но не полуночная, а предутренняя, когда время приближается к самому краю ночи, когда вот-вот забрезжит рассвет...

К Шандору ковьялет старуха. Она испуганно озирается вокруг.

— Шани, кто приходил к нам?

— Ударь меня, Бёшке.

Старуха не понимает его.

— Что ты говоришь, Шани? Как это так ударь?

— А я говорю, ударь. По щеке.

Старуха трясет мужа. Она чуть ли не рыдает.

— Что с тобой, Шани?

Шандор-бачи опирается плечом на частокол и ни слова не говорит. Молчит.

«Такая буря вперемешку с дегтем темень,— думает Марки.— Именно в такие ночи и случаются кошмары. А между тем все это правда...»

— Бёшке, все это правда... Сюда приходил сам сынок Эстергази. Он предложил нам убраться отсюда. Говорит, кончилась ваша власть. Вон и Петё убит. В камышах лежит.

Старуха тихо плачет.

— Боже мой,— говорит она,— что же теперь будет?.. Что с нами случится?..

Шандору все еще не верится. Ему нужны вещественные доказательства. Побольше доказательств! Кошмар обычно кончается и проходит, порою без следа. Надо все проверить... Вот они стреляли. Надо пойти и посмотреть. Это здесь, у маленькой пристани...

— Идем, Бёшке, идем...

Старики медленно шагают по тропе. Вокруг камыши. Шандор зажигает спичку и оглядывается. Нет, не здесь...

Небольшая прогалина. Камыши отступают к болотам.

Снова чиркнула спичка.

— Смотри,— дрожащим голосом говорит старуха.

В сторонке виднеется что-то темное, большое. Похоже на спящего человека, раскинувшего руки по сторонам.

Шандор делает еще несколько шагов, наклоняется и зажигает новую спичку.

— Это он,— говорит Шандор, задыхаясь.— Петё Пал.

Потом возвращается к старухе и крепко обнимает ее. И они неподвижно стоят несколько минут перед телом богатыря Пала Петё.

— Хороший был, хороший,— шепчет Шандор-бачи,— добрый, энергичный... Значит, все это правда, Бёшке. Дела, значит, пошли прахом. Снова Эстергази, снова Хорти... Кончилось доброе время.

— Не может быть, Шани, не может быть...

— Нет, все может быть. Ты видишь Пала? Это они убили его. Видишь, лежит и не двигается! А ведь без дела и минуты не мог просидеть. Нет, Бёшке, это не кошмар, а несчастье...

Вода на Балатоне не шелохнется. На нее тяжелым грузом

давит влажный туман. Край ночи — пора кошмаров. Но скоро встанет солнце, разбудит оно дремлющие ветры и разгонит туман. Что-то тогда будет? Подымется Петё как ни в чем не бывало или кошмар утвердится навсегда?..

Наверное, надо похоронить мертвого. Но нельзя одним. Надо, чтобы видели все. А сейчас необходимо покрыть простыней. Да, Ёржи сходит за покрывалом. Бедный Пал, как печально закончилась его жизнь...

— Не плачь,— утешает жену Шандор.— Не плачь, Бёшке.

А у самого теснит дыхание. А у самого слезы бегут по щекам. А у самого сердце щемит от нестерпимой боли...

Всего три дня пролежал в земле Пал Петё. Всего три дня и три ночи... Встало наконец над Балатоном утро, рассеялся туман. Нет ни Хорти, ни Надя, ни Эстергази! Их как не бывало...

Яркое ноябрьское утро. Солнце бьет в глаза. На тихой озерной глади — одинокий парус. Голубая дымка на том берегу.

И только свежая могила свидетельствует о том, что все это было, было именно в ту самую ночь. Осиротевшая семья Пала Петё свидетельствует о том же. И Шандор. И Ёржи. Да разве только они?

*Будапешт — Москва. 1956—1957.*

### НЕПОНЯТЛИВАЯ

Луиза Мадиа, черная супруга черного Винцента Мадиа, кажется, вовсе потеряла рассудок: болтает бог знает что! Правда, голову ее никто никогда не отягощал школьным образованием. Ее не мучила бессонница после прочтения интересных книг. И все-таки там, в Конго, она понимала все, была такой рассудительной и кроткой Шёшей (так ее называли домашние). А здесь? Что стряслось с нею в Брюсселе, славной королевской столице?

Супруги принадлежали к одной и той же народности банту-майомбе и с полуслова понимали друг друга. Это там, в Конго. А здесь Винцент просто не узнает свою высокую, немножко неуклюжую, белозубую Луизу. Может быть, Винцент состарился? Что верно, то верно: состарился. Но ведь сорок лет не такая уж глубокая старость!

Почти месяц живут супруги Мадиа в Брюсселе, вернее, в краале на территории парка Хейсель, и каждое утро Луиза задает один и тот же вопрос:

— Куда же нас забросил бог?

Винцент каждое утро терпеливо объясняет:

— На выставку. На всемирную... Здесь показывают товары, здания, моды. Вдумайся же: всемирная! Понимаешь: мир?

Далее следует стереотипный диалог:

— Я знаю мир: немножко Конго, немножко Бельгия. Что же дальше?

— Мир — это не только окрестности Лусамбо и окрестности Брюсселя.

— А что же еще?

— Мир — это много стран, Шоша. Ты видишь, сколько здесь разных построек? Они называются павильонами. Они из стекла и железа. Они принадлежат разным-разным странам, Шоша. (Он снова произносит это языческое имя, ибо хочется ему быть особенно нежным по отношению к супруге. А ей всегда нравилось оно, так же как и его — Мпунзи, звучное имя, которым назвал его Узикулуми, старейший в роду Мадиа.)

— Да, ты водил меня по выставке. Но зачем им понадобилось наш крааль и наша пирога в мелкой луже?

— Чтобы видел мир, как живут черные в Конго.

Луиза бросает на земляной пол свое вязанье. Ее пухлые, цвета спелой сливы губы дрожат от волнения.

— Показывают, говоришь? А почему эта хижина такая чистенькая? Почему она не протекает? Почему в ней нет голодных? Почему на тебе и на мне эти дорогие одеяния, а не рвань, которую ты купил у старьевщика из Лусамбо?

Винцент качает головой. «Она вовсе от рук отбилась,— решает он про себя.— Что же это с нею делается?»

— Пойми, Луиза,— обращается Винцент к подруге терпеливо, очень терпеливо.— Нельзя же тащить сюда нашу рвань. Люди засмеют.

— А тебя, значит, и меня, значит, тащить можно, а рвань нашу нельзя?! Я ходила по выставке и нигде не встречала белых людей, на которых, как на зверей, таращат глаза посетители.

Вот оно что! Шоше не хочется, чтобы на нее таращили глаза, как на диковинку. Винценту это и не приходило в голову.

Он внимательно глядит своими большими и чуть грустными глазами на обиженную Шошу.

— Я хочу домой, к своим детям,— решительно требует черная женщина.

Винценту надо подумать над ее словами. Лучше всего думать, работая при этом руками. И он продолжает стругать ножом деревяшку. Из нее он должен выделывать ложку. Как у себя на родине. Как это делают его бедные братья. Посетители выставки, желающие осмотреть негритянский крааль, должны

иметь представление о быте негров. Поэтому-то и сидит здесь, на пороге чистенькой хижины, Винцент Мадиа. Поэтому и находится рядом с ним его супруга со своим вязаньем и первобытным ткацким станком.

Насчет зверей Винцент и не подумал. Однако Луиза должна знать, почему они здесь, в Брюсселе, в королевском парке Хейсель, на всемирной выставке. Она должна знать, почему им платят деньги за то, что они день-деньской сидят в этой хижине, в чистенько прибранном краале. На все это требуется понимание. Иначе нельзя...

Все это очень спокойно и не раз и не два объясняет Винцент взбудораженной Луизе. Но женщина отказывается понимать своего мужа. Она словно позабыла язык майомбе. Ей не хочется вязать. Ей немогут ткать с утра до вечера только ради того, чтобы изображать, как говорит Винцент со слов белого начальника, быт туземцев Конго.

Она готова поссориться с мужем, который так спокоен и толстокож, но как раз в это время к хижине направляется толпа посетителей. Люди уже у самой ограды — в трех шагах от супругов Мадиа. Волей-неволей приходится сдерживаться.

Вот полная дама сквозь темные очки глядит на Луизу. Удивленно пялит глаза. И ей даже невдомек, чем расстроена эта черная женщина, прибывшая с окрестностей Лусамбо.

Дама что-то шепчет тучному мужчине в соломенной шляпе. На лице мужчины появляется улыбка. И он живо наводит фотоаппарат на Луизу.

— Улыбайся,— советует ей Винцент.— Послушайся меня, Шоша. Тебе же платят немалые деньги.

Нет, сегодня Луиза просто невыносима! Вместо того, чтобы улыбнуться, она забивается в самый угол хижины, не заботясь о своем шикарном платье, которое бесплатно предоставлено ей администрацией колониального павильона «Конго и Урунди-Уранда».

Любопытные посетители пытаются заглянуть внутрь хижины. Им хочется знать, чем там занимается черная женщина.

— Она легла спать,— предполагает дама.

— Среди бела дня? Не может быть,— возражает ей мужчина на фламандском языке.— Она снова покажется. А пока что займемся этим черным господином.

И он ловит в объектив аппарата Винцента Мадиа, который хорошо усвоил свою роль: негр улыбается, обнажая два ряда белых, крепких зубов, и с усердием стругает палочку.

В одно мгновение на негра направляется дюжина объективов. Кто-то снимает его любительским киноаппаратом. Мадиа,

надо отдать ему должное, прекрасно позирует. Расточает улыбки направо и налево...

Однако ему не по себе. А вдруг выйдет Луиза и покажет посетителям свои заплаканные глаза? Что тогда скажет администрация?

И он пересаживается поближе к двери, чтобы загородить собою вход. Не надо, чтобы видели белые заплаканную черную Луизу!

А посетители как нарочно не уходят отсюда, все таращат глаза на Винцента Мадиа. Они словно чувствуют что-то неладное. Дети указывают на черного пальцами, хихикают и, как видно, очень довольны зрелищем.

Мадиа немного говорит по-французски и совсем не говорит по-фламандски. А вокруг как нарочно все фламандцы. Наверное, прибыли из провинции...

Луиза неподвижна. Кажется, и не дышит... Ну, что с ней приключилось? Скверно, разумеется, когда на тебя таращат глаза, как на эту хижину, как на пирогу в этой луже и на прочую мелочь. Но надо же иметь терпение! В конце концов никто не тянул сюда силой. Вознаграждение обещано приличное — отчего бы и не поехать в Брюссель? А с этими любопытными, что же? Бог с ними — и все!..

Людей вокруг становится все больше и больше. Все глазеют, все глазеют да глазеют. И верно ведь: смотрят, как на тигров в клетке...

— Пст! Пст! — обращается какой-то господин к Винценту.

Мадиа поворачивается к нему, и тот миглом фиксирует на своей пленке скуластое, добродушное и черное, как сажа, лицо жителя далекого Конго.

— Откуда вы? — спрашивает господин Винцента по-французски.

— Я?

— Да, вы.

— Из Конго.

— А точнее?

— Из Лусамбо!

— Из самого Лусамбо?

— Нет, недалеко от Лусамбо.

— А как вас звать?

— Винцент.

— Католик, что ли?

— Верно, мсье, католик.

Две монахини, протиснувшиеся вперед, обмениваются удивленными взглядами. А господин перегибается через ограду и подносит фотоаппарат к самому носу Мадиа. Винцент



спокойно позирует. Он понимает, что находится при исполнении своих служебных обязанностей. А вот Луиза не хочет понять этого... И все-таки неприятно, что она плачет. Надо бы ее успокоить. А любопытствующие как назло не желают уходить. Они все теснее обступают крааль и тычут своими носами в самый порог маленькой африканской хижины.

Винцент перестает стругать деревяшку. Пристально вглядывается в толпу. Очень пристально. Он видит множество то любопытных, то насмешливых глаз. И ни одного взгляда сочувственного, по-настоящему доброго. Все чужие, холодные глаза!

Винцент подпирает подбородок фиолетовыми руками и задумывается... Да, чужие, холодные глаза! Голубые, серые, карие, черные... Женские, мужские, детские... Не так же ли разглядывают они бегемота в клетке? Кажется, права Луиза... Кажется, не такая уж непонятливая эта Шоша.

Винцент резко подымается и скрывается в хижине, где, свернувшись в клубок, лежит в углу Луиза. Он наклоняется над нею и говорит тихо-тихо:

— Вставай, Шоша.

Женщина молчит.

— Я же говорю тебе, вставай!

Луиза, как мертвая.

Винцент вздыхает.

— Я думаю,— говорит он, точно сам себе,— ты права. Может быть, отчасти, но права... Мы с тобою здесь вроде этой хижины — как бы без души. Так полагают те, что собрались здесь, у крааля. Ты права, наше место в Лусамбо. А я-то думал, непонятливая ты.

Луиза будто оживает. К нему тянется заплаканное и такое большое и светлое, как луна, лицо. Ее лицо.

— Пойдем отсюда,— говорит он жестко.— Пойдем, а иначе сделаюсь бешеным буйволом...

Луиза вскакивает, поправляет платье, неторопливо идет к выходу. За нею — Винцент, коренастый, в тесном костюме, с полосатым галстуком на шее.

Луиза и Винцент проходят в калиточку, молча рассекают толпу надвое. Луиза впереди, а Винцент за ее спиной. Десяток аппаратов щелкает затворами один за другим. Но Винцент уже не улыбается. Не позирует. Ему наплевать на этих зевак...

— Куда же мы идем? — спрашивает Луиза.

Винцент обгоняет ее и небрежно бросает:

— Я знаю тут нашего начальника. Пусть садится сам на порог хижины и стругает палочку. А мне надо в Лусамбо. Слышишь? В Лусамбо!

Черная женщина вытирает платочком глаза, покорно сле-

дует за мужем. Она хорошо знает: Винцент может молчать долго-долго, но если скажет слово, то обратно не возьмет.

Винцент Мадиа повторяет:

— В Лусамбо... В Лусамбо... В Лусамбо...— Вдруг он резко оборачивается к жене и говорит без особой злости: — Ты все же непонятливая. Непонятливая!

Она покорно соглашается с ним: разумеется, она непонятливая. Она согласна на все, лишь бы не эта клетка в образе крааля и африканской хижины посреди парка Хейсель... И кровь стучит в ее висках:

«В Лусамбо. В Лусамбо. В Лусамбо».

Брюссель — Москва. 1958.

## СОДЕРЖАНИЕ

✓ Белая ночь . . . . .	3
Такой характер . . . . .	11
Позор . . . . .	17
Мститель . . . . .	22
Пастух Визру . . . . .	25
Беда . . . . .	29
Исход . . . . .	33
На краю ночи . . . . .	37
Непонятливая . . . . .	42

Георгий Дмитриевич Гулиа  
БЕЛАЯ НОЧЬ

Редактор — П. КРАВЧЕНКО.

А 08872. Подписано к печати 2/XII 1959 г. Тираж 150 000. Изд. № 1827.

Заказ № 2701. Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. 0,75 бум. л.— 2,05 печ. л.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина.  
Москва, ул. «Правды», 24.

Цена 60 коп.

# **ЗАСТРАХОВАЛИ ЛИ ВЫ СВОЁ ИМУЩЕСТВО?**

Госстрах принимает на страхование предметы домашнего хозяйства и обихода, а также средства транспорта (автомобили, мотоциклы, мотороллеры и др.).

Госстрах выплачивает страховое возмещение в случае гибели или повреждения имущества от пожара, наводнения и других стихийных бедствий, а по страхованию средств транспорта — и от аварий.

Граждане! Заключайте и своевременно возобновляйте договоры страхования имущества.

Для заключения договоров обращайтесь в инспекцию или к агенту Госстраха.

Главное управление государственного  
страхования РСФСР.